

ЮРИЙ ПАВЛОВ

## МЕМУАРЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

*Заметки русского читателя*

В XXI веке появляются мемуары и мемуарная проза Евгения Евтушенко, Василия Аксёнова, Анатолия Гладилина, Бориса Грибанова, Даниила Гранина, Юлиу Эдлеса, Наума Коржавина, Лазаря Лазарева, Бенедикта Сарнова, Станислава Рассадина... Все эти авторы, за исключением Коржавина, – “шестидесятники”. Сегодня многие историки, литературоведы, критики, преподаватели, учителя, студенты, ученики и читатели вообще представления о XX веке и его литературе черпают из этих источников и, наверное, будут черпать в будущем. На некоторых примерах постараюсь показать уязвимые места мемуаров “шестидесятников”, которые позволяют относиться к ним как к источникам с “мертвой” водой. За пределами заметок оставляю книги Ст. Рассадина и Б. Сарнова, о них я уже высказался (“Наш современник”, 2005, № 11, “Наш современник”, 2008, № 5).

В 2006 году были опубликованы воспоминания Бориса Грибанова “И память-снег летит и пасть не может...”. Немногим ранее Лазарь Лазарев, главный редактор “Вопросов литературы”, на вопрос мемуариста, напечатает ли он эти воспоминания, ответил: “Напечатаю <...> но при одном условии: если они не будут целиком посвящены пьянкам и бабам”. Мемуары вышли не в “Вопросах литературы”, а в “Знамени” (2006, № 9), и в них действительно речь идёт преимущественно о пьянках и бабах...

Для начала обращусь к одной из главных тем для всех “шестидесятников” и “левых” вообще, к теме Сталина.

На одной журнальной странице Борис Грибанов собрал самые невероятные слухи о Сталине, находя в них объяснение особенностей его государственной деятельности. По версии мемуариста, “собака зарыта” в тайне происхождения Сталина: “Его мать <...> была горийской шлюхой, красоткой, которая, между прочим, спала с местным князьком. Когда она забеременела, прибежали к старинному способу – нашли бедняка, Виссариона Джугашвили, купили его согласие на бракосочетание, после чего он уехал в Тифлис, поступил там рабочим на обувную фабрику Алиханова, а затем канул в неизвестность”.

Приведённая цитата – лучшая иллюстрация уровня мышления и фактографической “точности” Грибанова. Во-первых, мать Сталина была женщиной религиозной и добропорядочной. Даже Э. Радзинский, падкий на всякие сомнительные, “жёлтые” сенсации, в своей книге “Сталин” (М., 1997) признаёт ложность подобных слухов. Во-вторых, Сталин был уже третьим ребёнком в семье Джугашвили, то есть версия, что Екатерина Геладзе забеременела ещё до брака – полный абсурд. В-третьих, Грибанову не мешало бы знать, что

бракосочетание родителей Сталина состоялось 17 мая 1874 года – почти за три с половиной года до рождения Иосифа.

И большинство суждений о Сталине в мемуарах выдержано на таком же уровне. Нельзя сказать, что информация о других политических деятелях качественно иная и ей можно доверять. В одних случаях возникают сомнения в достоверности сообщаемого, как, например, в эпизоде, рассказанном Б. Грибановым, о встрече Светланы Аллилуевой с Давидом Самойловым на квартире А. И. Микояна. В других случаях приводимые якобы факты легко опровергаются. Так, тот же Микоян, по Грибанову, в конце 50-х годов был председателем Верховного Совета СССР. Реально же Анастас Иванович был назначен на эту должность 15 июля 1964 года.

Юлиу Эдлис в своих мемуарах “Четверо в дублёнках и другие фигуранты” (М., 2003) сообщает о Микояне следующее: “...Было это уже в п о с л е х р у щ ё в с к у ю (разрядка моя. – Ю. П.) пору, – на второй или третий день после своей встречи с Анастасом Микояном, тогда уже отстранённым от высокой властной должности и коротавшим свою старость всего-навсего пенсионером “союзного значения”: Трифонов задумал книгу о своём <...> отце <...> и Анастас Иванович, которому теперь бояться и терять было уже нечего, согласился рассказать о Валентине Трифонове всё, что он о нём помнил, хотя, вероятно же, далеко не всё”.

Плохо, что Эдлис не называет той высокой должности, которой лишился Микоян. Вероятнее всего, имеется в виду Председатель Президиума Верховного Совета. Им Анастас Иванович перестал быть в декабре 1965 года, после чего, однако, не ушёл на пенсию. Это произойдёт в июне 1966 года вслед за его отставкой из президиума ЦК КПСС. Правда, до 1973 года Микоян ещё остаётся членом ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета, то есть если следовать логике Эдлиса, то до указанного срока Анастасу Ивановичу было чего бояться. Однако микояновско-трифоновская конструкция Эдлиса, состоящая из лжефактов и лжехарактеристик, которые я вообще не комментировал, разлетается вдребезги уже от соприкосновения с очевидной реальностью: книга Юрия Трифонова об отце “Отблеск костра” вышла в 1965 году, то есть до каких-либо отставок, “союзного пенсионерства” и т. д.

Гораздо реже, чем о Сталине, Микояне, Хрущёве, и с меньшей охотой “шестидесятники” пишут о Ленине. Пишут чаще всего вынужденно. Так, понятно, почему Евтушенко не мог миновать этой темы: думаю, ещё немало читателей помнят его поэму “Казанский университет”. В своих мемуарах “Шестидесятник” (М., 2006) Евгений Александрович говорит о Владимире Ульянове по сути то же, что и Даниил Гранин в книге “Причуды моей памяти” (М., 2008). Приведу отрывок воспоминаний Евтушенко из главы: “Я – последний советский поэт”: “Я принадлежу к тем шестидесятникам, которые сначала сражались с призраком Сталина при помощи призрака Ленина. Но как мы могли узнать, раздобыть архивные материалы об ином, неизвестном нам Ленине, которые пылились за семью замками? Как мы могли прочесть “Архипелаг ГУЛАГ” до того, как он был написан? Мы не знали, что под декретом о создании Соловков – первого догитлеровского концлагеря – стояла подпись Ленина, что именно он отдавал безжалостные приказы о расправах с крестьянами, не знали о его непримиримости к инакомыслящей интеллигенции. Многие его записки Дзержинскому, Сталину, депеши, указания скрывались”.

Думаю, довод “мы не могли узнать” работает в том случае, когда такое заявляет, условно говоря, простой обыватель; если же эти слова звучат из уст писателя, тем более создавшего произведение о Ленине, то меня они не убеждают. Для того чтобы понять сущность Ульянова, знание “секретных материалов”, в которых, как видим, Евтушенко до сих пор путается, не обязательно. Работы и письма Ленина, изданные в СССР, дают представление о нём как о ненавистнике Бога, крестьянства, традиционных ценностей, примитивном толкователе отечественной классики.

Но возможно и другое: возраст, “жизненные слабости”, лень, желание идти в ногу со временем и т. д. не позволяли Евтушенко и “шестидесятникам” разобраться в Ульянове. Это произошло, по версии Евтушенко, лишь в 80-е годы. Но почему до сих пор – задаю я риторический вопрос – “шестидесятники”, отравлявшие сознание миллионов своими “Казанскими университетами”, “Секвойями Ленина”, “Лонжюмо” (входившими в школьную программу)

и мифами о “пламенных революционерах”, не признали ни своей вины, ни своей моральной ответственности?..

Во многих мемуарах возникает сюжет о “деле врачей”, в котором особый акцент делается на последствия, якобы ожидавшие евреев. Например, в мемуарах Бориса Грибанова “И память-снег летит и пасть не может...” и Лазаря Лазарева “Записки пожилого человека” (“Знамя”, 2003, № 7) предстаёт такая характерная версия событий: “Москва жила в атмосфере страха, все ждали открытого судебного процесса над врачами-убийцами, готовящихся еврейских погромов и последующего массового выселения евреев на север и в казахстанские степи. Говорили, что там уже строят бараки”; “Сообщение (об аресте врачей-вредителей. – Ю. П.) послужило началом разнузданной черносотенной, антисемитской кампании, готовившей то ли погромы, то ли депортацию евреев...”

Как известно, впервые подобные слухи родились еще в начале 50-х годов XX века. Они транслировались как в СССР, так и за его пределами, особенно активно и заинтересованно – в США и Израиле. За последние двадцать лет издано большое количество “страшилок”, авторы которых, подобно Грибанову и Лазареву, напрочь игнорируют альтернативную точку зрения историков. Такие мировоззренчески разные авторы, как Рудольф Пихоя, Геннадий Костырченко, Вадим Кожин, Сергей Семанов, утверждают, что планируемая депортация евреев – это миф, ибо нет никаких – прямых или косвенных – документальных доказательств сей якобы готовившейся грандиозной акции. Приведу некоторые доводы, приводимые в этой связи.

Кожин в книге “Россия. Век XX” (1939–1964)” (М., 1999) одним из первых обратил внимание на факты, разрушающие старые и новые мифы, порождённые “делом врачей”. Во-первых, в отличие от многих исследователей, Вадим Валерианович акцентированно замечает, что по данному “делу” русских было арестовано больше, чем евреев. Во-вторых, для перемещения более двух миллионов человек на огромное расстояние была необходима “заблаговременная и очень существенная подготовка. А ведь абсолютно никаких сведений о подобной подготовке не имеется”. В-третьих, Сталин, если бы и хотел, не мог осуществить депортацию евреев по разным причинам.

Более детально и всесторонне об этих причинах говорит Геннадий Костырченко в своей книге “Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм” (М., 2003), в главе “Миф о депортации”. К тому же он обращает внимание на то, что Л. Каганович, Н. Хрущёв и другие руководители страны из окружения Сталина позже в своих мемуарах и интервью отрицали наличие плана депортации евреев. Исключением является Булганин – пенсионер, в сильном подпитии рассказывавший “байки” о секретном плане Сталина...

В мемуарах А. Гладилина “Улица генералов” (М., 2008) миф о депортации евреев обрастает новыми подробностями. Незванный капитан политотдела под воздействием алкоголя рассказал начинающему писателю такую историю о своем начальнике: “...Крейзер, конечно, еврей, но самый храбрый еврей Советской Армии. Когда Сталин заставил (надо – заставлял. – Ю. П.) подписывать письмо о переселении евреев, все ваши штатские – академики, артисты, писатели – подписали, а Крейзер, тогда генерал-полковник, не подписал”.

Вполне естественно, что во время встречи с капитаном Гладилин спокойно “проглотил” информацию о письме, но уже в момент написания мемуаров он, думаю, должен был данный факт проверить по достоверным источникам, ибо из подобных деталей складывается у читателя представление о времени.

На самом деле письмо о переселении евреев никто не подписывал, ибо его не существовало вообще. В двух редакциях для публикации в “Правде” готовилось другое письмо, где говорилось о дружбе народов СССР, о честных еврейских тружениках, клеймились Израиль и сионизм и т. д., – письмо, которым хотели снять напряжение, вызванное “делом врачей”. Однако обе редакции письма, как и сама идея, в конце концов, были отвергнуты Сталиным. И вот этот документ действительно подписали многие известные в Советском Союзе евреи: Илья Эренбург, Василий Гроссман, Самуил Маршак, Исаак Дунаевский...

Ситуация не меняется и тогда, когда “шестидесятники” обращаются к иным периодам отечественной и мировой истории. Их суждения о ней есть не результат выявления закономерностей через совокупность фактов и событий,

а производное от идей и схем, под которые подгоняется близкое и далёкое прошлое.

Вот как, например, Евгений Евтушенко в “Шестидесятнике”, отталкиваясь от неизлечимого заболевания царевича Алексея, характеризует одну из особенностей русской истории и национального менталитета: “Мы знаем, что этот дядька-матрос предаст своего воспитанника, присоединится к тем, кто издевался над царской семьёй. Но многие из тех, кто расстреливал царскую семью, окажутся расстрелянными сами. Неостановимость крови – гемофилия – это национальная болезнь России. Она берёт начало во времена татаро-монгольского ига, когда русские князья бесконечно сражались друг против друга, вместо того, чтобы объединиться. Тогда и зародилась национальная традиция, которой не стоит гордиться, – привычка к проливанью русскими русской крови”.

Не вызывает сомнений, что в своих представлениях об истории Евтушенко так и не вырос из примитивных леволиберальных стереотипов. Не утомляя читателя цифрами и фактами, тезисно, предельно кратко напомним широкоизвестное, о чём неоднократно писали многие авторы, которых Евгений Александрович, видимо, не читал.

Сражения русских князей друг с другом велись ещё до нашествия монголо-татар, бесконечные же сражения – это явное преувеличение, плод фантазии и недостатка знаний Евтушенко. Немецкие, английские и прочие европейские “князья” воевали между собой не реже русских, а крови своих народов многие из них пролили больше, чем русские. То есть гемофилия – не собственно национальная болезнь. Кстати, почему Евгений Александрович не учитывает чужую кровь, пролитую теми же немцами, англичанами, французами или американцами? В этом они явно превзошли русских. И ещё: если гемофилия – данность отечественной истории, то откуда берутся такие периоды в ней, когда эта “болезнь” отсутствует или почти отсутствует? Например, практически весь XIX век или время правления Леонида Брежнева? И наконец, как быть с большим количеством нерусских расстрельщиков царской семьи?

\* \* \*

Не менее удивляет то, какой предстаёт во многих мемуарах литературная жизнь. Её изображение, её оценки видятся мне из армавирского далёка поверхностными, крайне схематичными, а часто – примитивными. Вот Анатолий Гладилин с ностальгией вспоминает времена, когда писатели читали друг друга, и критично отзываясь о дне сегодняшнем, ибо вместо “широкого литературного круга” существуют “многочисленные малочисленные кружки, которые стараются друг друга не замечать”.

На уровне констатации фактов Гладилин, безусловно, прав. Он говорит об очевидном, о чём до него писали сотни, если не тысячи авторов. Но куда нужнее и продуктивнее было сказать о причинах и о деятелях, приведших к такому результату. Естественно, что Гладилин и его единомышленники об этом не говорят и говорить – во всяком случае объективно – не будут: сие для них равносильно самоубийству.

То, что мы имеем сегодня, – небывалое в истории России падение нравственности, интеллекта, отсутствие самых элементарных знаний в области литературы, истории и других дисциплин, катастрофическое положение “толстых” журналов, преступная издательская политика, когда ублюдочно-матерные книжки выходят тиражом большим, чем вся русская классика, вместе взятая, – это результат вашей деятельности, Виктор Ерофеев, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Василий Аксёнов, Анатолий Гладилин, Татьяна Толстая... Результат деятельности той власти, которую вы двадцать лет окучиваете идейно и культурно.

Только не говорите, что вы ни при чём, вы, как всегда, в оппозиции к власти. Лучше вспомните, кто входил и входит в различные общественные палаты и комиссии при президенте и иных властных структурах, в том числе в комиссию по Государственным премиям, и кто эти премии и другие высокие награды каждый год – обильно и не за что – получает, кого в юбилеи президенты поздравляли лично, чьим здоровьем интересовались, чьи произведе-

ния и телевизионные передачи хвалили, и про книжную ярмарку с Путиным и Шираком не забудьте...

Поэтому меня умиляет мыслительная и душевная неменяемость большинства демократов, которые до сих пор так ничего и не поняли. Даниил Гранин, например, в книге “Причуды моей памяти” (М., 2008) похвалу своим единомышленникам заканчивает тирадой: “Преобразились журналы, редактируемые Баклановым, Коротичем, Залыгиным, Баруздиным, Ананьевым. Словом, гласность, демократизация показали (??? – Ю. П.) писателю как активных сторонников перестройки и подняли престиж советского писателя”.

С престижем пусть разбирается Игорь Шадхан, на которого книга Гранина произвела “огромное впечатление” (“Литературная Россия”, 2009, № 1). Мы же вернёмся к характеристике современной литературной жизни. Эта жизнь, уверяет Гладилин, сводится к разного рода презентациям и, более того, “ни один литературный критик, даже из самого паршивого издания, принципиально не откроет книгу, если вместе с ней ему не поднесут хотя бы рюмку водки и хвост селёдки”.

Я уже начал закипать от возмущения, ибо вспомнил М. Лобанова, И. Роднянскую, В. Бондаренко, К. Кокшеневу, С. Куняева, С. Небольсина, В. Баракова, А. Татаринова, А. Рудалёва, С. Казначеева, Н. Крижановского и других бескорыстных критиков, но вовремя остановил себя: Гладилин, конечно, имеет в виду тех авторов из “шестидесятнической”, “либеральной” тусовки, с которыми он общается... Но всё же не стоит в лучших традициях “пламенных революционеров” (о них “шестидесятники” накропали в свое время немало книг) говорить обо всех критиках так общо, мазать всех хвостом селёдки... “Это ещё хуже, чем обвинения в антисемитизме”, – слышится мне голос московского друга-критика.

Зависть – постоянный лейтмотив мемуаров “шестидесятников”, одно из ключевых понятий в жизни творческой интеллигенции. Например, Сергей Довлатов в письме к Анатолию Гладилину, которое последний приводит в своих мемуарах, объясняет, что нападки на Анатолия Тихоновича со стороны некоторых представителей третьей волны эмиграции вызваны социальной завистью: дескать, мы сидели в Риге, Ленинграде и т. д., “копались в говне”, а вы – в столице – процветали... К тому же Довлатов утверждает, что данное чувство присуще и ему, и Бродскому.

Не комментируя сию мысль, скажу, на мой взгляд, о главном. Довлатов и согласный с ним Гладилин забывают о более мощном “двигателе” во взаимоотношениях писателей – творческой зависти. В таком случае чаще всего все другие соображения (место жительства, социальный и писательский статус, материальное положение) не имеют или почти не имеют значения.

Поясню на примере, который приводит Владимир Соловьёв в книге “Три еврея, или Утешение в слезах” (М., 2002). Евгений Евтушенко и Александр Кушнер, по сути, одинаково прореагировали на своё поражение в своеобразном поэтическом соревновании с Иосифом Бродским – читке стихов, устроенной на квартире Соловьёва. “Евтух (так в компании Соловьёва звали Евтушенко. – Ю. П.) забудет о покровительственных – по отношению к Бродскому – своих обязанностях (какое там покровительство!), и помрачнеет Саша, превратившись на глазах в маленького озлобленного карлика...”

Оба поэта, по Соловьёву, были заинтересованы в исчезновении Бродского с литературного ландшафта Советского Союза. А Евтушенко, согласно версии будущего Нобелевского лауреата, подтверждённой самим Евгением Александровичем в беседе с автором “Трёх евреев...”, этому исчезновению способствовал. Евтушенко на вопрос Андропова: представляет ли он будущее Бродского в СССР, – ответил: не представляю. И уже через месяц поэт покинул страну по упрощённой схеме выезда.

Конечно, версию творческой зависти нужно использовать осторожно, во многих случаях она не срабатывает. Так, надуманным выглядит утверждение Гладилина о том, что Твардовский не печатал в “Новом мире” Ахмадулину, Вознесенского, Евтушенко, Окуджаву, Рождественского из-за “профессиональной ревности – по популярности с нашими поэтами никто не мог сравниться”. Суть проблемы, думаю, не в этом, а в человеческой и творческой несовместимости главного редактора “Нового мира” и названных поэтов, что в полной мере относится и к самому Гладилину.

Анатолий Тихонович пишет, что ему понятно, почему Твардовский не печатал его, но причину или причины не называет. Вероятнее всего, подразумевается следующее объяснение: Александру Трифоновичу были не приемлемы формальные изыскания Гладилина, “гениального” (В. Катаев) мовиста. Это, несомненно, так, но сие всё же – не главное.

Представления о жизни, человеке, литературе у Гладилина были интеллигентско-западно-космополитическими, у Твардовского – советско-народными с периодическими прорывами в традиционно-русские. Например, Анатолий Тихонович в понимании социального времени не только в 60-е годы XX века, но в XXI столетии даже не приближается к неожиданным для меня прозрениям Александра Трифоновича. Твардовский 13 июля 1969 года после прочтения И. Дейчера делает такую запись: “Ну что мне до этой “борьбы титанов” – этого грузина (Сталина. – Ю. П.) и этого еврея (Троцкого. – Ю. П.), полем состязания которых была русская жизнь, деревня, крестьянство – о которых они знали по книгам, суммарным понятиям, и обоим, в сущности, было ни холодно, ни жарко от живой судьбы мужика, человека, людей, родины (где она у них)” (“Знамя”, 2004, № 9).

В этом суждении Твардовского всё чуждо и враждебно для мировоззрения “шестидесятников”, Гладилина в частности. И то, что Александр Трифонович расставляет национальные акценты в разговоре о руководителе страны. И то, что Твардовский поверяет деятельность Сталина и Троцкого единственно правильными, традиционными критериями русской жизни и русской литературы.

В мемуарах “шестидесятников” существует чёткое подразделение писателей на “своих” и “чужих”. Если в повествовании писателей речь идёт о “своём”, например, Михаиле Светлове, то никаких непристойностей о нём автор воспоминаний не рассказывает. И всё же вопросы возникают. С какой целью появлялась в Коктейль-холле каждый раз в два-три часа ночи жена Светлова? Чтобы довести его до дома или оторвать от стакана, а может быть, то и другое вместе? Особенно пошлой, недостойной выглядит в такой ситуации шутка “обаятельного человека”, обращённая к статной жене: “Зачем мне, бедному еврею, такой дворец? Мне бы хижину”.

Совсем по-другому, с явной неприязнью Б. Грибанов пишет о русском пьянице С. Наровчатове. Он и нужду справляет в рояль на глазах у всех, и незстетично-комично ведёт себя после выхода из клиники для алкоголиков... А Б. Сарнов в своих мемуарах “Скуки не было” (М., 2004) говорит о Наровчатове как о “партийном функционере, отъевшем свиноподобную ряшку, неотличимую от морд других таких же партийных функционеров”.

Д. Самойлов, любитель размашисто-негативных характеристик, к С. Наровчатову относится более благосклонно, чем Б. Грибанов, Б. Сарнов, Л. Чуковская и другие авторы. Из многих его разнонаправленных высказываний приведу одно (от 20 июля 1978 года), которое итожит предыдущие оценки и сфокусированно выражает отношение писателя к бывшему другу: “Масштаб человека определяется натурой. Наровчатов-характер или Наровчатов-личность мне чужды. Но в натуре его много незаурядного, много того, что можно ценить” (Самойлов Д. Поденные записи: В 2 т. – Т. 2. – М., 2002).

В воспоминаниях Н. Коржавина “В соблазнах кровавой эпохи” (М., 2006), Р. Киреева “Пятьдесят лет в раю” (“Знамя”, 2006, № 10), Ю. Кузнецова “Очарованный институт” (Кузнецов Ю. Прозрение во тьме. – Краснодар, 2007) акцент делается на “дневном”, “светлом” С. Наровчатове. Показательно, что опорные слова в коржавинской характеристике поэта следующие: “редкостно красив”, “насквозь интеллигентен”, “ярко, празднично талантлив”. В отличие от Лидии Чуковской, для которой Наровчатов – “проигравший себя карьерист” (письмо Д. Самойлову от 28.09.1978. “Знамя”, 2003, № 6), Руслан Киреев называет Сергея Сергеевича сановником “с характером и принципами”, отмечает его феноменальную память и фантастическую начитанность, высоко оценивает его как главного редактора, в первую очередь выделяя широту его идейно-эстетических взглядов.

Последнее качество в Наровчатове выделяет и не менее резкий в суждениях, чем Давид Самойлов и Лидия Чуковская, Юрий Кузнецов, когда говорит о нём как о руководителе семинара в Литературном институте. Сергей Сергеевич “принимал все течения и манеры и давал студентам полную свободу”. По отношению к Кузнецову Наровчатов проявил себя и как добрый, от-

звичивый человек, который помог кубанскому поэту после окончания института остаться и прописаться в Москве.

То есть пьянством или карьеризмом личность С. Наровчатова не исчерпывается. К тому же свидетельства Н. Коржавина, Р. Киреева, Ю. Кузнецова я привёл ещё и потому, что выросло целое поколение читателей, а также якобы профессиональных филологов, которые историю литературы, личность и творчество отдельных авторов воспринимают “через окуляры” модных стереотипов, односторонних подходов, а также в состоянии полного или частичного культурно-информационного беспамятства.

Уж если Роман Сенчин, талантливый писатель и серьёзный критик, признаётся, что мемуары Р. Киреева открывают ему “почти неизвестную... страницу советской литературы” (“Литературная Россия”, 2008, № 1), хотя в них по сути ничего нового не сообщается, то что уж говорить о многих других...

Для воспринимающих литературу по учебникам В. Баевского, Н. Лейдермана и М. Липовецкого, В. Агеносова, М. Черняк, по мемуарам “шестидесятников”, сообщу о поступке С. Наровчатова, замалчиваемом нашей “левой опричниной” (В. Розанов). Если бы такой поступок был фактом биографии, скажем, Е. Евтушенко, Д. Самойлова, А. Рыбакова, то о нём бы широко разгубили, в нём увидели бы проявление мужества, человеческого и писательского достоинства, порядочности.

Итак, в феврале 1970 года А. Твардовский в рабочих тетрадях приводит список новых членов редколлегии “Нового мира”, список, который ещё нигде не публиковался. И как показали дальнейшие события, список был точен: “разведка” “Нового мира” работала хорошо. Однако С. Наровчатов внёс коррективы в этот список. Он, единственный из предложенных “сверху” кандидатов, отказался войти в новую редколлегию журнала.

Этот поступок никак не комментируется ни самим А. Твардовским, ни его дочерьми. Они в коротком послесловии к публикации рабочих тетрадей отца (“Знамя”, 2005, № 10) дважды с горечью говорят о поведении известных писателей и критиков, которые предали Твардовского, стали дружно и поспешно сотрудничать с новым “Новым миром”. Это Ю. Трифионов, Е. Евтушенко, А. Рыбаков и многие другие “борцы с тоталитаризмом”. О С. Наровчатове в этом послесловии — ни звука. Это и понятно: партийная дисциплина есть сверхдисциплина... У нынешних либералов от литературы она ещё строже, чем у ортодоксальных коммунистов советской эпохи.

И всё же на поступок С. Наровчатова отреагировал 11 февраля 1970 года В. Лакшин. В своём дневнике он записал: “Рассказывают, что Наровчатов отказался работать в редколлегии без согласия Твардовского. Его утвердили прежде, чем поговорили с ним. Будто бы он отказался решительно, а выходя из кабинета Воронкова — плюнул и сказал: “Бляди”. Хоть какое-то человеческое приобретение в эти дни. Рыжий <...> Рекемчук, конечно, на это не способен...” (“Дружба народов”, 2003, № 6).

\* \* \*

У всех “шестидесятников” обязательно возникает в мемуарах еврейская тема. Трепетно-живое, почти священное отношение к ней обусловлено устойчивой “левой” традицией (евреи — соль земли, самый талантливый и несчастный народ...) и происхождением большинства мемуаристов. Их национальная самоидентификация происходит по-разному, но обязательно через сопряжение с еврейским миром.

Бенедикт Сарнов в книге “Скуки не было” откровенно и много пишет о своём еврействе, параллельно обильно мифотворствуя на тему антисемитизма. Станислав Рассадин, бывший друг Сарнова, в “Книге прощаний” (М., 2004) признаётся, что всю жизнь хотел стать евреем и, констатирую, стал им.

Людмила Петрушевская в очерке “Национальность не определена...” (см.: В Израиль и обратно. — М., 2004) называет собственное еврейство данностью, от которой никуда не деться, “проклятым горбом и прекрасным даром”. Видимо, по “случайному” совпадению, самые денежные премии в нашей стране получают “горбатые” и шабсгои: Людмила Петрушевская, Дина Рубина, Дмитрий Быков, Владимир Войнович, Андрей Вознесенский, Владимир Маканин...

Наум Коржавин во вступлении к двухтомнику мемуаров “В соблазнах кровавой эпохи” на тридцати страницах рассказывает о своих родителях-евреях и многочисленных родственниках. А в конце главы писатель делает, казалось бы, не логичный, не вытекающий из сказанного вывод: “А любовь моя давно и бесповоротно отдана России. Почему я прежде всего и главным образом – русский”.

Евгений Евтушенко в мемуарной прозе “Шестидесятник” счел необходимым подчеркнуть, что в его жилах нет еврейской крови, как будто это что-то меняет в культурно-духовной прописке поэта. Как идеал, реализованный Евтушенко в жизни, как самохарактеристика, звучат для меня его стихотворные строки из романа “Ягодные места” про “слово радостное человек”, в которое должны слиться оба слова – еврей и русский. Хотя иногда Евтушенко особенно настаивает на своей русскости, как, например, в случае, рассказанном Владимиром Соловьёвым в книге “Три еврея, или Утешение в слезах”.

Евгений Александрович в компании ему подобных товарищей в троллейбусе был атакован “разъярённым патриотом”. Реакция поэта, который ранее просил Фиделя взять его солдатом острова Свободы, была такова: “Женя вдруг, сквозь весь троллейбус, кинулся к водителю, и мы услышали пронзительный мальчишеский его голос, срывающийся от волнения на дискант: “Я – знаменитый русский поэт Евтушенко, <...> а этот меня бьёт! Немедленно остановите троллейбус, закройте все двери, никого не выпускайте, вызовите милиционера, я – знаменитый русский поэт Евтушенко”.

О попытке национальной самоидентификации и о сложностях, которые при этом возникают, – глава “Мы – евреи” в повествовании Евгения Рейна “Призрак среди руин”. Поэт вместе с Ильёй Авербахом, оказавшись в израильской синагоге, пытается определить свою национальную принадлежность через незнакомый мир иудейства. Неопределённый результат (“смущение души”) – следствие таких размышлений Рейна: “А кто были мы? Русские, может быть, но не совсем. Евреи? Но тоже какие-то неполноценные”.

И еврейская полноценность “субботников”, выходцев из России, живущих в Израиле, исповедующих иудаизм, вызывает у поэта сомнение. Особенно его смущает, что “субботники” – “деревенской, абсолютно русской внешности люди”. Но всё же имя-отчество одного из них – Израиль Моисеевич – окончательно снимает вопросы Евгения Рейна. Однако вопрос невольно возникает у меня, вопрос о полноценности полноценных евреев – служителей синагоги. Они обманывают поэта, заплатив ему за выступление 70 долларов вместо обещанных 100.

Анатолий Гладилин в “Улице генералов” говорит о своём происхождении следующее. Он дважды упоминает русского отца, о матери сообщает, что она “старый большевик и секретарь наркома Луначарского”, себя же Гладилин характеризует так: “по анкете я русский, Анатолий Тихонович”. “По анкете” звучит двусмысленно, с подтекстом, подразумевающим, во-первых, формальную принадлежность писателя к русским, во-вторых, наличие нерусской матери. Выше приведённая информация о ней плюс явная юдофилия Анатолия Тихоновича дают основание предположить, что, скорее всего, его мать была еврейкой.

Я держу в уме и то, что уже в ранней повести “Бригантина поднимает паруса” (1959) “семитский вопрос” (цитата из произведения) встаёт перед главным героем Вовкой. Через размышления его и “лучшего грузчика” (так сказано в повести) еврея Лосева писатель стремится разрушить некоторые отрицательные стереотипы о дорогом автору народе. Показательно и то, как поступает разозлённый ругательством пьяницы: “еврей, гад” – и его хамским поведением Вовка. Он наносит “несколько ударов, сильных, точных”. И когда пьяница остаётся “лежать на мостовой”, Вовка, убеждённый строитель коммунизма, спешно вскакивает в отходящий автобус.

В мемуарах Гладилина, вышедших через сорок девять лет после публикации данной повести, тихая, не декларируемая любовь к евреям проявляется во всём, в большом и малом. Например, многие авторы мемуаров разных направлений пишут о явном преобладании евреев в 50–60-е годы в редакциях журналов и газет. Так, в “Юности”, где печатались произведения Гладилина, появлению Станислава Рассадина, как русского сотрудника журнала, по его свидетельству в “Книге прощаний”, очень обрадовались, так как почти все остальные работники были евреи. Об аналогичной ситуации в “Знамени” рассказывает в своих мемуарах “Поэзия. Судьба. Россия” (М., 2005) Станислав Куняев.

Гладилин, в отличие от названных и неназванных авторов, говорит о единичном, точечном присутствии евреев в различных СМИ. Они, по его версии,



выполняли функции преимущественно хранителей идеологической чистоты, как Александр Чаковский в “Литературной газете” или Борис Закс в “Новом мире”.

Читатель, далёкий от литературы, каковым сегодня из-за проводимой “мудрой” вузовско-школьно-издательской политики является и большинство филологов, может поверить Гладилину. Тем более что он (как и все “шестидесятники”, чьими мемуарами заполнены книжные магазины) последовательно проводит мысль об антисемитизме как общей атмосфере партийно-комсомольско-журнально-газетной жизни.

Однако те факты, которые сообщает сам Гладилин, если не опровергают, то ставят под сомнение объективность такой версии событий. Лен Карпинский, секретарь ЦК ВЛКСМ, позвонивший Анатолию Тихоновичу после прочтения его повести “Дым в глаза”, как прорвался через якобы антисемитские заслоны? Или представление о “Новом мире” резко изменится, если помимо Закса будут названы другие евреи, работавшие в журнале? Вот только некоторые из них – Игорь Сац, Ася Берзер, Софья Минц, Владимир Лакшин, Ефим Дорош, Софья Караганова, Юрий Буртин.

\* \* \*

В мемуарах большую роль играет авторская самооценка, степень её адекватности, как правило, определяет и адекватность других оценок и характеристик. В восхвалении себя любимого всех превзошёл Евтушенко, что, конечно, не неожиданность. По самохарактеристике поэта, он – “эпицентрик” XX века, а различные факты и события призваны сие подтвердить. Вот только некоторые из них: негр с Берега Слоновой Кости 25 лет носил в бумажнике газету со стихотворением Евгения Александровича “На мосту”; А. И. Микоян понял, что наступили новые времена, увидев очередь на вечер поэта; за Евтушенко “шпионили не только мелкие стукачи, но и председатели КГБ Семичастный и Андропов”; стихотворение поэта “Наследники Сталина” было доставлено в “Правду” на военном самолете с резолюцией самого Хрущёва.

В главе “Ни с болонками, ни с овчарками” поэт называет себя и всех “шестидесятников” “мауглями социалистических джунглей”, а другую главу в свойственной ему манере завершает так: “Волчий паспорт” – вот моя судьба”. Тема несвободы, преследования Евтушенко и его товарищей лейтмотивом проходит через все мемуары. Об этом, по сути, говорит и Анатолий Гладилин в “Улице генералов”, делая упор на том, что “они не печатались, они пробивались”.

Этот широко распространённый миф в последние 15 лет был подвергнут убедительной критике как “справа”, так и “слева”. Довольно часто приводят в качестве контраргумента информацию, которую Евтушенко растиражировал в различных интервью, а затем включил в мемуары: поэт с “волчьим паспортом” посетил 94 страны мира... Отвечая на различные упрёки, раздающиеся в адрес “шестидесятников” в последние годы, Евгений Александрович заявляет: “Про нас, шестидесятников, порой сквозь зубы говорят, что наша смелость была “санкционированной”. Эта зависть к тому, как нас любили. Нам никто ничего не дарил – мы брали боем каждый сантиметр территории свободы”.

По логике Евтушенко, и Анна Ахматова попадает в завистники поэта. Она, свидетельствует Лидия Чуковская, довольно критично отзывалась о Евгении Александровиче как человеке и поэте. Показательно, что на утверждение Чуковской: “Начальство их недолгобливает”, – Ахматова отреагировала так: “Вздор! Их посылают на Кубу! И каждый день делают им рекламу в газетах. Так ли у нас поступают с поэтами, когда начальство не жалуется на самом деле!” (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. – Санкт-Петербург, 1996).

В “Шестидесятнике” есть “Глава, написанная не мной”, где на 75 страницах приводятся отзывы о Евтушенко. Однако в этой главе не нашлось места для резко-негативных, уничижительно-убийственных высказываний о поэте Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Владимира Максимова, Галины Вишневской, Натальи Горбаневской, Владимира Соловьева, Александра Зиновьева, Владимира Бондаренко, Станислава Куняева... Последний, в частности, в своих мемуарах “Поэзия. Судьба. Россия”, ссылаясь на документ, обращает внимание на то, что перевод и издание книги Евтушенко в Голландии, по сути, спонсировались Советским государством. Может быть, это Евгений Александрович и называет “брать боем каждый сантиметр территории свободы”?..

Именно Станислав Куняев дал, на мой взгляд, самую точную оценку мемуарам Евтушенко, его личности и творчеству. В следующее переиздание “Шестидесятника”, в “Главу, написанную не мной”, советую включить – плюрализма ради – хотя бы такую цитату из мемуаров Куняева: “Пусть этот баловень судьбы, выкормыш “социалистических джунглей”, этот сволочёныш, столько сил положивший для разрушения нашей жизни и воцарения ельцинской эпохи, пожинает плоды своих деяний – глядит на старух с протянутыми для подаяния ладонями, на мужчин, копающихся на помойках, на подростков с остекленевшими от наркотиков зрачками и мечтает только об одном, чтобы мы пожалели шакалов из его стаи – Собчака и Коротича...”

“Волчий паспорт”? Да какой там волчий – сучий...”

Василий Аксёнов в книге “Зеница ока” (М., 2005) рассказывает о себе и “шестидесятниках”, одним из которых является Юрий Реньё. В отличие от тех, кто оказался в Израиле, Германии, Франции, США и т. д., он остался “тута”. Думаю, сие слово употреблено Аксёновым не столько по причине его известной ироничности, сколько из-за нежелания определять отношение своего героя к стране проживания. Не знаю, какого эффекта хотел достичь автор “Зеницы ока” культурно-духовной пропиской Реньё: “Кто-то ведь должен был позитивно оккупировать данную территорию”.

Вот портрет “окупанта” XX века Юрия Реньё в исполнении Василия Аксёнова. Он “ещё в школе грезил баррикадами Будапешта”, а когда вырос, стал взрослым “барбосом”, музыкантом и драматургом, брал иные баррикады – сердца девятиклассниц. То, что должно вызывать омерзение и желание дать в морду бородатому “дядьке” в шортах и майке, у его друга-шестидесятника вызывает одобрение и лёгкую иронию. Реньё “учил слушать” девятиклассниц джаз и трижды женился... В другом месте “шестидесятник-барбос” “манифестировал своё поколение” через джаз, сюрреализм, кришнаизм (джентльментский набор недоумка). Ещё Реньё не голосовал за коммунизм, пел “Ожог” Аксёнова под гитару, преодолевал расстояния, чтобы раздобыть “кусок черновика со сквернословиями”.

Скажут: Юрий Реньё – неудачный пример. Хотите, возьмём другой, более удачный – самого Аксёнова. Помнится, в интервью Марии Дементьевой во время первого приезда в “тутошнюю” страну после долгого отсутствия Василий Павлович говорил о себе как о гражданине мира и признавался, что относится к России “как к источнику информации, к литературному материалу” (“Собеседник”, 1989, № 50). Именно с позиции чужестранства-окупантства Аксёнов оценивает в книге “Зеница ока” любые события и лица. Он утверждает, что “нелегко будет России замолить свою вину перед Синявским” (вину должен был замаливать именно Андрей Донатович за “Россию-суку” и многое другое), что русский народ должно обвинять за раскулачивание и ГУЛАГ (у Василия Павловича явные проблемы и со знанием истории, и с совестью: главная жертва становится у него единственным обвиняемым. А маму вашу и других “пламенных революционеров” вы, конечно, отнесёте к жертвам или героям?), что Борис Березовский – “генератор идей, человек, каких не хватает в постсоветской России” (без комментариев), а Алик Гинзбург – “проводник всех этих сахаровских и солженицынских сурово-жизненных идей” (каким мейнстримом такую нелепость в голову Аксёнова надуло?), и т. д., и т. п.

Итак, многое из того, что мы имеем сегодня, – в первую очередь широкомасштабное одичание “тутошних” народов – это результат “позитивной оккупации” “шестидесятников”. Ещё в письме к Боткину от 8 сентября 1841 года Виссарион Белинский, характеризуя себя и своих друзей-западников, точно определил тип человека-космополита, который в XX веке будет явлен в лице аксёновых, гладилиных, сарновых и прочих евтушенок: “Человек – великое слово, великое дело, но тогда, когда он француз, немец, англичанин, русский. А русские ли мы?... Нет. <...> Мы люди без отечества – нет, хуже, чем без отечества: мы люди, для которых отечество – призрак...” (Белинский В. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 9. – М., 1982).

Уже более ста лет “люди без отечества”, “граждане мира” во многом определяют культурно-литературный, образовательный и иной ландшафт нашей страны, уверенно ведут её, как чужую, ненавистную, “тутошнюю” территорию, к неизбежной гибели. Пора спасти нашу Родину, пора кончать со всякими “окупациями” и “окупантами”.